



**В. Г. КОРОЛЕНКО**

### **Воспоминание о Чернышевском**

17 августа <sup>1</sup> 1889 года, часов около шести вечера, я позвонил у дверей деревянного флигеля во дворе, против общественного сада, в Саратове. В этом домике жил Чернышевский.

В Саратове мне рассказывали, что он и здесь, как в Астрахани, живет отшельником, ни с кем не видится, и доступ к нему очень труден, почти невозможен. Говорили даже, будто на дверях вывешено объявление: «Никого не принимают».

Объявления, конечно, не было. Что же касается трудности доступа, то я это испытал на себе, хотя имел полное основание рассчитывать, что буду принят. С Николаем Гавриловичем заочно я давно уже был знаком через брата <sup>2</sup>, в последний же год мы с ним немного переписывались <sup>3</sup>. Он звал меня повидаться, и, что еще важнее в данном отношении, такое же приглашение получил я от Ольги Сократовны, его жены <sup>4</sup>. Года два перед тем я писал брату, когда он жил в Астрахани, что летом очень бы хотел приехать туда и познакомиться с Николаем Гавриловичем, но тогда последний ответил:

— Нет, уж это не надо. Мы с Владимиром Галактионовичем как два гнилых яблока. Положи вместе — хуже загниют. — Намек, очевидно, на то, что у нас обоих репутация значительно в глазах начальства попорчена.

Но в последние годы этот строгий режим сам Чернышевский значительно ослабил (я думаю, у него и тут, как с чтением в Вилюйске, была известная система <sup>5</sup>), но Ольга Сократовна продолжала держаться его до конца. Таким образом, как я узнал впоследствии, в отсутствие Ольги Сократовны Чернышевский иногда принимал кого попало, и к нему проникали совершенно случайные посетители. В другое время не принимали никого, кроме тех,

кто знал секрет, открытый при свидании и мне. Нужно было, не звоня у парадного входа, обойти кругом и войти через кухню.

Я не знал секрета, и ко мне через несколько минут вышла кухарка. Не отворяя вполне двери, она оглядела меня, как будто вспоминая, не видела ли меня прежде, потом загородила вход и, улыбаясь мне в лицо, сказала, что Николая Гавриловича нет дома.

— А барыня?

— Уехали в гости.

Мне казалось, что барин дома и что кухарка именно этому и смеется. Но делать было нечего. Я вынул визитную карточку, написал, что зайду еще завтра, и отдал кухарке, не обозначив своего адреса.

Утром, вместе с женой, мы ушли из номера «Татарской гостиницы», где остановились, в гостиный двор, за покупками. Вернувшись около половины десятого домой, мы получили от номерного записку на клочке бумаги. На ней было написано характерным крупным почерком Чернышевского: «Приходил. Буду между десятью и четвертью одиннадцатого. Н. Чернышевский»<sup>6</sup>.

Действительно, мы только что уселись за самовар, как в назначенный срок скрипнула дверь, и кто-то, не видный из-за перегородки, заговорил:

— А-а, дома. Ну, вот и отлично, вот и пришел. А, вот вы какой, Владимир Галактионович... Ну, каково поживаете, каково поживаете? Ну, очень рад.

К концу этой речи Чернышевский был уже около стола, протягивая мне руку, точно мы с ним старые знакомые и виделись лишь несколько дней назад.

— А это кто у вас? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень рад, голубушка, очень рад. Ну, вот и пришел.

Я видел портреты Чернышевского. Один из них был снят в Астрахани, кажется за год до отъезда в Саратов<sup>7</sup>. На нем Чернышевский совсем не похож на того, несколько мечтательного, молодого человека с сильно выдававшимися скулами и резко суженной нижней частью лица, с почти прямым носом и очень тонкими губами, каким он изображен на портрете, который мы все знали с семидесятых годов<sup>8</sup>. Но теперь я по первому взгляду тоже не узнал бы Чернышевского. Последний его портрет, находящийся в обращении, изображает мужественного человека, с крупными чертами лица, очень мало напоминающими литерату-

тора. Густые длинные волосы по-русски, как у Гоголя, обрамляют это лицо и свешиваются на лоб. Выражение серьезное, и в нем совсем не заметно оттенка добродушной улыбки и отчасти стариковского чудачества<sup>9</sup>, которое оживляло лицо вошедшего к нам человека.

Голос, который мы услышали еще из-за перегородки, был старческий, слегка приглушенный, но фигура сначала показалась мне совсем молодой. Эту иллюзию производили в особенности его каштановые волосы, длинные, кудрявившиеся внизу, без малейших признаков седины. Но когда я взглянул ему в лицо,— у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной молодой шевелюрой. В сущности, он был похож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были теперь мельче, миниатюрнее,— по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый.

Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело.

Поляки, с которыми я встречался и жил в Якутской области, сделали интересное наблюдение. Один из них рассказывал мне, что почти все, возвращавшиеся по манифестам прямо па родину после того, как много лет прожили в холодном якутском климате,— умирали неожиданно быстро. Поэтому, кто мог,— старался смягчить переход, останавливаясь на год, на два или на три в южных областях Сибири или в северо-восточных Европейской России.

Верно это наблюдение, или эти смерти — простые случайности, но только на Чернышевском оно подтвердилось. Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знайную Астрахань здоровым. Мой брат видел его там таким, каков он на портрете. Из Астрахани он переехал в Саратов уже таким, каким мы его увидели, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который уже вел его к могиле.

Это чувство внезапного и какого-то острого сожаления возвращалось ко мне несколько раз в течение разговора, который завязался у нас как-то сразу, точно мы были с Н. Г. родные, свидевшиеся после долгой разлуки. Он говорил оживленно и даже весело. Он всегда отлично владел собою, и если страдал,— а могли он не страдать очень жестоко,— то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью.

По истечении некоторого времени, среди разговоров, он взял руку А. С. и, глядя на нее, сказал:

— Ну, вот, очень рад, милая вы моя. Это отлично, право. Это очень хорошо. Я очень рад, что узнал вас.— И неожиданно поцеловал у нее руку. Она также неожиданно наклонилась и ответила поцелуем в лоб, но он отстранился, как будто испугавшись этого внезапного излияния.

— Нет, не надо. Сожаление?.. Не надо этого! Я ведь, знаете, как поцеловал у вас руку — из галантности! А-а, а вы не знали: я ведь галантнейший кавалер.

И он с шутливой манерностью поднес вторично ее руку к губам.

— Да-с. И вот он — тоже галантнейший кавалер,— указал он на меня.— Утонченнейшая вежливость! Пришел вчера, не застал и оставил карточку, а адреса на карточке не написал. Понимаю, понимаю,— не объясняйте. Я отлично понимаю; значит, не трудитесь, Николай Гаврилович, отдавать визит, долгом сочту явиться вторично. Деликатность!.. А я из-за этой деликатности сегодня, высуня язык, весь город обегал, все разыскивал. На пристанях был, в полиции был, наконец догадался купить газету. Они тут отмечают всех приезжих, останавливающихся в гостиницах; вот и нашел.

Уже в это первое свидание мне вспомнился тот рассказ, который я привел в начале моего очерка,— о поляке, вышедшем из под земли <sup>10</sup>, — и впечатление определилось. «Тот самый, тот самий», — думалось с грустью. Какая это, в сущности, страшная трагедия остаться тем же, когда жизнь так изменилась. Мы слышим часто, что тот или другой человек «остался тем же хорошим, честным и с теми же убеждениями, каким мы его знали двадцать лет назад». Но это нужно понимать условно. Это значит только, что человек остался в том же отношении к разным сторонам жизни. Если вся жизнь передвинулась куда бы то ни было, и мы с нею, и с нею же наш знакомый,— то ясно, что мы не заметили никакой перемены в положении. Но Чернышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе.

— Публицистика!..— сказал однажды Чернышевский на вопрос моего брата, отчего он опять не возьмется за нее.— Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вот у вас теперь на оч-

реди вопрос о нападении на земство, на новые суды... Что я напишу об них: во всю мою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании.

Ни разу! Конечно: ведь его увезли до открытия новых учреждений, а привезли обратно, когда их собирались уничтожить. И эта судьба постигла человека, все помыслы сердца которого, все стремления, вся жизнь — были жизнью, помыслами, стремлениями русского писателя-гражданина, и ничем более. У него все эти годы не было ничего, кроме литературы: ни семья, ни профессия — ничто не смягчало для него горечи ссылки, не могло смягчить и горечи возвращения. В Сибири он стоял, как старый камень вдали от берега изменившей русло реки. Она катится где-то далеко, где-то шумят ее живые волны, но они уже не обмывают его, одинокого, печального.

Его разговор обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над которым он работал теперь, уже не поддавался его приемам. Он остался по-прежнему крайним рационалистом по приемам мысли, экономистом по ее основаниям.

Позволяя себе вторгнуться в чужие пределы, я попробую очертить главные основания прежнего умственного склада Чернышевского и его сподвижников. Вера в силу устроительного разума, по Конту<sup>11</sup>. Вся история — есть не что иное, как смена разных силлогизмов, смена, происходящая по схеме Гегеля<sup>12</sup>. «Докажите мне, что это не так, что положение, антитеза и синтез Гегеля не имеют места в истории,— и я уступлю вам по всем пунктам нашей полемики», — писал он, помнится, Вернадскому<sup>13</sup>. Далее: главный материал, над которым оперирует разум, творящий социальные формы, — эгоистические и, прежде всего, материальные интересы. Сделать подсчет этих интересов, поставить наибольшее благо наибольшего числа людей в качестве цели, показать эту таблицу с ее противоположными итогами громадным массам, которые теперь, по неумению рассчитать, допускают существование неправильной социальной арифметики, — остальное уже можно легко предсказать и предвидеть.

Таковы были, по-моему, взгляды, такова, по-моему, была вера.

И вот — казематы Александровска, Нерчинска, Акатуя<sup>14</sup>, которые не могли, конечно, разбить основных взглядов, — очень удачно справлялись с верой, обломав ей крылья и ощипав перья. Основные философские взгляды остались, но вера в непосредственное

творческое действие рациональных идей утратилась. Для нас, оставшихся среди жизни, этот процесс совершился посредством вторжения, постепенного и незаметного, новых элементов мировоззрения. Вместе с народнической литературой наше поколение изучало народ, которому приходилось показывать социальную арифметику; оно изучало его также практически, целым опытом народническо-пропагандистского движения. И мы были поражены сложностью, противоречиями, неожиданностями, которые при этом встретились. Но эти разочарования, причиняемые столкновениями с живою жизнью, имеют особое свойство: их и исцеляет сама жизнь. Противоречие, неожиданность разрушает прежний взгляд, но тотчас же оно захватывает внимание, и незаметно зарождается в душе возможность новых взглядов. Вся литературная биография Успенского, все, за что мы его так любим, весь захватывающий интерес его деятельности, художественной и публицистической, объясняется этой историей интеллигентной чуткой души, натыкающейся в поисках правды и жизненной гармонии на противоречия и диссонансы и все-таки не теряющей веры.

Перестав быть «рационалистическими экономистами», мы тоже не остановились на месте. Вместо схем чисто экономических, литературное направление, главным представителем которого является Н. К. Михайловский<sup>15</sup>, раскрыло перед нами целую перспективу законов и параллелей биологического характера, а игре экономических интересов отводилось надлежащее место. Все это лишало прежнюю постановку вопросов ее прозрачной ясности, усложняло их, запутывало, но все мы чувствовали, что нам необходимо войти в этот сложный лабиринт, и при этом мы прощали исследователям отступления, ошибки, противоречия.

Чернышевский остался при прежних взглядах: от художественного произведения, как от критической или публицистической статьи, он требовал ясного, простого непосредственного вывода, который покрывал бы все содержание. Вот пример, иллюстрирующий его отношение к Глебу Успенскому.

— Ну, вот вам рассказ: живет мужик, в нужде да в работе, как конь ломовой. Вдруг господа помогают, или там... урожай. Разбогател на время, отдыхает. Полезли в голову мысли во время отдыха, стал пьянствовать, бить бабу, чуть не погиб. Вывод очевиден: не нужно мужику жить богаче и иметь отдых, чтобы не избаловался.

Я вспомнил действительно два рассказа Глеба Ивановича приблизительно такого содержания. Один следовал вскоре после радостной картины урожая, где Успенский описал, как понемногу «выпрямляется» мужицкая душа от благодати урожая и в ней исчезает злоба и зверство<sup>16</sup>. Но вот, через некоторое время, он видит факт, послуживший поводом к рассказу «Взбрело в башку»<sup>17</sup>, и, не заботясь о полной стройности всех выводов из всех своих рассказов,— взволнованный и расстроенный до глубины души (я видел его, когда он собирался писать этот рассказ), кинул нам этот живой факт, так сказать, еще теплый, во всей его правде и со всеми заключенными в нем противоречиями. Мы, сами давно уже бьющиеся среди сложности и противоречий жизни, ускользающей от нашего «устройства», любим и ценим в писателе эту чуткую нервность и тонкую правдивую восприимчивость к таким фактам.

Чернышевский, у которого жизнь тоже утянула, как и у нас, много прежних надежд, не хотел все-таки, да и не мог считаться с этой сложностью и требовал по-прежнему ясных, прямых, непосредственных выводов.

О всяком писателе он спрашивал прежде всего: умный он человек? или нет? И далеко не за всеми известностями признавал это качество. За Михайловским, например, признавал, хотя совершенно отвергал его биолого-социологические параллели<sup>18</sup>.

С особенной резкостью говорил он о Толстом<sup>19</sup>, и это понятно, потому что оба они имеют общую точку соприосновения в рационализме, хотя в выводах стоят на противоположных полюсах.

— А Толстым увлекаешься? — спросил он, лукаво смотря на мою жену.— Превосходный писатель, не правда ли?

Жена сказала свое мнение и спросила об его собственном отношении к последним для того времени произведениям Толстого.

Чернышевский вынул платок и высморкался.

— Что, хорошо? — спросил он, к великому нашему удивлению.— Хорошо я сморкаюсь? Так себе, не правда ли? Если бы у вас кто спросил: хорошо ли Чернышевский сморкается, вы бы ответили: без всяких манер, да и где же какому-то бурсаку иметь хорошие манеры. А что, если бы я вдруг представил неопровергимые доказательства, что я не бурсак, а герцог, и получил самое настояще герцогское воспитание. Вот тогда бы вы тотчас же подумали: а-а, нет-с, это он не плохо высморкался,— это и есть настоящая, самая редкостная герцогская манера... Правда ведь? А?

— Пожалуй.

— Ну, вот то же и с Толстым. Если бы другой написал сказку об Иване-дураке,— ни в одной редакции, пожалуй, и не напечатали бы. А вот, подпишет граф Толстой — все и ахают. Ах, Толстой, великий романист! Не может быть, чтоб была глупость. Это только необычно и гениально! По-графски сморкается!..

Вообще к движению, обозначеному Толстым, но имевшему и другие родственные разветвления, он относился очень на-смешливо и рассказывал некоторые, сюда относящиеся эпизоды с большим юмором. Я приведу один из подобных эпизодов, но, чтобы он мог сказать все, что с ним связано относительно характеристики Чернышевского, я должен прибавить еще несколько слов.

В квартире Чернышевского, во второе мое свидание с ним, я встретил, кроме его жены и секретаря <sup>20</sup>, еще молодую девушку, племянницу Чернышевского <sup>21</sup>, знакомую моему брату. Она очень сердилась на последнего за то, что он не ответил на ее письмо, и часто возвращалась к этому вопросу.

— Ах, милая вы моя,— полуслышно, полусерьезно сказал ей Чернышевский.— Разве кто-нибудь из серьезных людей отвечает на письма. Никогда! Да и не нужно. Положительно не нужно! Вот я вам случай расскажу из своей практики: как-то раз Ольги Сократовны не было дома, хожу себе по комнатам, вдруг звонок. Отворяю дверь,— какой-то незнакомый господин.

— Что угодно?

— Николая Гавриловича Чернышевского угодно.

— А это я самый.

— Вы — Николай Гаврилович?

— Да, я Николай Гаврилович.

Он стоит, смотрит на меня, и я на него смотрю. Потом вижу, что ведь так нельзя, позвал в гостиную. Сел, облокотился на стол, опять смотрит в лицо.

— Так вот это вы — Николай Гаврилович Чернышевский.

— Да, говорю, я Николай Гаврилович Чернышевский.

— А я, говорит, приехал на пароходе, а поезд уходит через пять часов. Я и думаю: надо зайти к Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

— А-а, это, конечно, уважительная причина. Однако вот и моя жена пришла. Позвольте вас представить, как вас зовут?

— А это, говорит, вовсе и не нужно.

«Вот оно что,— подумал я,— какой-нибудь важный конспиратор». Увел его к себе в кабинет, посадил и говорю:

— Если при других вам нельзя выскажаться, то, может, мне одному скажете?

— Ах, нет, говорит, это не то вовсе. Моя фамилия такая-то, доктор Х. Еду теперь в Петербург по своим делам.

И опять сидит, смотрит.

— Так вот... Вы — Николай Гаврилович Чернышевский!

— Я Николай Гаврилович Чернышевский. Однако, знаете, до поезда все-таки еще долго. Давайте о чем-нибудь говорить.

— Ну, хорошо, давайте.

— О чём же?

— О чём хотите, Николай Гаврилович Чернышевский, о том и говорите.

Посмотрел я на него и думаю: давай попробую с ним о Толстом заговорить. Взял да и обругал Толстого. Смотрю — ничего, никакого впечатления.

— Послушайте, говорю, а может быть, вам это неприятно, что я тут о таком великом человеке так отзываюсь.

— Нет, говорит, ничего. Продолжайте. Несколько месяцев назад, может быть, я и очень бы огорчился. А теперь ничего, теперь я уже свою веру выдумал, собственную.

— А, вот это интересно. Расскажите, какую вы это выдумали веру. Может, и хорошая вера.

— Конечно, хорошая.— Начал рассказывать что-то, я слушаю. Должно быть, уж очень что-то умное,— ничего нельзя понять.— Постойте, говорит. Я вам письмо с дороги пришлю. Адрес тоже пришлю, и вы мне непременно ответьте. А теперь пойдем лучше пройдемся по городу, да и на пароход.

Мне тоже показалось, что это самое лучшее. Вера у него какая-то очень скучная, да и не граф он ни в каком смысле... Не интересно. Проводил я его на пароход, пароход отчаливает, а он все кричит:

— Напишу, отвечайте непременно, что думаете.

Отлично. Он уехал, а я забыл. Только через некоторое время опять я один, опять звонок. Отворяю. Опять незнакомец, на этот раз молодой.

— Вы — Николай Гаврилович Чернышевский?

— Я Николай Гаврилович Чернышевский.

— Я от доктора Х.

«А-а,— думаю себе,— пророк Андрей Первозванный, Прислан меня в новую веру обращать».

— Милости просим, говорю.

— Письмо к вам, длинное. Просит ответа. Я с ним увижуся!

— А вы кто?

Оказался ветеринар и человек отличный. Проездом... Устраивал свои дела, а теперь едет в университет. Планы все простые, хорошие, как у всякого порядочного молодого человека. Учиться собирается, ну и прочее... Все хорошо.

Думаю: «Нет, должно быть, не этой веры». И действительно,— с доктором он встретился совсем случайно.

— Ну, отлично, говорю. Вы хотите ответа?

— Просил Х. непременно привезти. Уж вы, пожалуйста, Николай Гаврилович.

— Ах ты господи! А содержание письма вам известно?

— Нет, не знаю.

«Ну,— думаю,— так, может, еще освободит».

— Давайте-ка прочтем вместе.— Усадил его в кабинете, вскрыл письмо, читаю. Прочитал несколько,— все так же, как в изустной речи: или уже слишком умно, или просто глупо, ничего не понимаю. Посмотрел на молодого человека. У него глаза удивленные...

— Ну, что, говорю, читать далее, или о чем другом поговорим?

— О другом, говорит, лучше.

— А отвечать надо?

— Помилуйте, говорит, что тут отвечать. Невозможно и ответить ничего толком.

— Так вот, видите,— улыбаясь, закончил он рассказ, обращаясь к племяннице.— О важных делах, о новой вере и то не отвечают, а вы тут о своих пустяках пишете и требуете ответа... Предрассудок!..

Девушка, смеясь, вышла из комнаты... Тогда, оглянувшись конспиративно на дверь, Чернышевский наклонился ко мне и сказал:

— Если передадите брату ее слова, скажите, пусть не сердится. Видите, она девушка хорошая, честная, сирота. Жизнь вся прошла серо, сестер и братьев выводила в люди, сама не видела ничего, никакой радости. Ну, а в тот год, когда встретилась с вашим братом,— свалила с себя главное-то бремя, стала жить на свой

счет, по Волге вот поехала... Все это — понимаете, и радостно ей, и кажется значительно очень. Свобода, встреча с хорошими интеллигентными людьми после глухого угла. Вот она и не может себе представить, что эта случайная встреча важна и значительна только для нее одной, а не для других, и вот почему ее так волнует неполучение ответа от случайно встреченного тогда человека.

Эта внимательность к окружающим, это тонкое понимание чужого настроения добавляет, по-моему, очень важную черту к нравственному облику самого Чернышевского.

Поздним вечером Чернышевский проводил меня до ворот, мы обнялись на прощание, и я не подозревал, что обнимаю его последний раз...

Теперь еще несколько слов об его отношении к своему прошлому.

Мой брат передавал мне одну импровизацию Чернышевского. Эту легенду-аллегорию он слышал, к сожалению, из вторых уже рук: ему рассказывала племянница Чернышевского, под свежим впечатлением очень яркого, живого юмористического рассказа самого Николая Гавриловича <sup>22</sup>. Брат передавал ее мне тогда же, но теперь мы оба восстановили в памяти лишь некоторые черты, один остов этой аллегории. Я привожу ее все-таки, так как в ней есть характерные черты и проглядывают отчасти взгляды Чернышевского в последнее время на свою прошлую деятельность.

Когда-то, во время кавказской войны, Шамиль <sup>23</sup> спросил одного прорицателя об исходе своего предприятия. Прорицатель дал ответ очень неблагоприятный. Шамиль рассердился и велел посадить пророка в темницу, а затем приговорил его к казни ввиду того, что его предсказание вносило уныние в среду мюридов. Перед казнью пророк попросил выслушать его в последний раз и сказал: «В эту ночь я видел вещий сон: есть где-то на свете дом, в этом доме ученый человек сидит много лет над рукописями и книгами. Он придумает вскоре такую машину, от которой перевернется не только Кавказ и Константинополь, но и вся Европа. А будет это тогда, когда бараны станут кричать козлами».

Шамиль задумался и хотел помиловать пророка, но мюриды возмутились еще больше: не ясно ли, что пророк сеет в рядах правоверных напрасное уныние,— где же видано, чтобы бараны кричали козлами?

И пророка казнили. Но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну по казненному, то один из баранов, назначенный к закланию, вырвался из рук черкеса и, вскочив на крышу Шамилевой сакли, закричал три раза козлом.

Тогда Шамиль ужаснулся и, призвав самого верного из своих адъютантов, дал ему денег и велел ехать по свету, во что бы то ни стало разыскать неизвестного ученого и убить его прежде, чем он успеет окончить свою работу. К сожалению, я совсем не знаю подробностей путешествия адъютанта по разным странам. Слышавшие этот рассказ говорили, что описание этих поисков представляло настоящую юмористическую поэму. Теперь приходится ограничиться тем, что адъютант действительно разыскал ученого и, кажется, именно в Петербурге. Он застал его, окруженного книгами, в кабинете, в котором топился камин. Ученый сидел против огня и размышлял. Когда адъютант Шамиля объявил ему, что он долго его разыскивал, чтобы убить, ученый ответил, что он готов умереть, но просил дать немного времени, чтобы покончить свои дела и планы.— Ты хочешь привести в исполнение то, что у тебя здесь написано и начертано? — спросил его мюрид.

— Нет, я хочу все это скечь в камине, чтобы никто не вздумал выполнить то, над чем я так долго трудился, считая, что работаю для блага людей. Теперь я пришел к заключению, что я ошибался!..

— Вы — были этот ученый? — спросила Чернышевского одна из слушательниц.

— Нет, я — тот баран, который хотел кричать козлом, — ответил он с добродушной иронией, с которой часто говорил о себе. В дальнейшие комментарии он не пускался, предоставляя, по своему обыкновению, слушателям делать самим те или другие заключения.

Конечно, очень трудно по приведенным мною обломкам судить о целом этой аллегории. Однако на основании того, что я слышал впоследствии от части от других, от части же лично от Чернышевского, я позволю себе сделать некоторые комментарии. Мне кажется, что Чернышевский имел здесь в виду себя (а может быть, также и других) как теоретика и мыслителя, который вообразил себя практическим деятелем. Вероятно, на это именно указывает сравнение себя с кротким по природе бараном, которому вздумалось кричать по-козлиному. Мне доводилось слышать эту же мысль, выраженную ясно и без всяких аллегорий.

— Ах, Владимир Галактионович, — говорил мне покойный при личном свидании, когда мы стали перебирать прошлое и заговорили о Сибири. — Знаете ли: попал я в Акату в среду со сланных за революционные дела... Кого только там не было: поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помочь полякам, наши каракозовцы!.. И все народ хороший, но все — зеленая молодежь. Одному мне под пятьдесят. Оглянулся я на себя и говорю: ах, старый дурак, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало...

Правда, все эти нападки на прошлое, иногда высказываемые в очень резкой форме самообличения, не отзывались ни унылым разочарованием, ни слабодушным покаянием в прошлых «грехах». Наоборот, после таких выходок Чернышевский встряхивал своими густыми волосами, глядел исподлобья улыбающимся взглядом и прибавлял:

— А ведь все-таки, сказать правду: не все же только худое было... Было кое-что и хорошее. Пожалуй, немало было хорошего, да, не мало.

Указанием на это обстоятельство я отклоняю вместе с тем упрек в кажущемся противоречии, которое можно бы, пожалуй, усмотреть в том, что я говорил выше о Чернышевском, оставшемся прежним Чернышевским шестидесятых годов, с его насмешками над своим прошлым. Нет, он не смеялся над прошлым и остался в основных своих взглядах тем же революционером в области мысли, со всеми прежними приемами умственной борьбы. Он смеялся только над своими попытками практической деятельности и, пожалуй, не верил в близость и плодотворность общественного катаклизма.

Это факт, и, как таковой, я привожу его для характеристики этого крупного человека в последний период его жизни.

В заключение приведу здесь легенду, которая сложилась о Чернышевском еще при его жизни в далекой Сибири, на Лене.

Чернышевского привезли в Россию летом, а я ехал тем же путем осенью того же года.

Трудно представить себе что-либо более угрюмое, печальное и неприветное, чем приленская природа. Голые скалы, иногда каменная стена на десятки верст, и наверху, над вашей головой, только лиственничный лес да порой кресты якутских могил. И так почти на три тысячи верст. Русское население Лены — это

ямщики, поселенные здесь с давних времен правительством и живущие у государства на жалованье. Это своего рода сколок старинных «ямов», почтовая служба для государственных целей, среди дикой природы и полудикого местного населения, среди тяжкой нужды. «Мы пеструю столбу караулим,— говорил мне с горькой жалобой один из ямщиков своим испорченным полурусским жаргоном,— пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу». В этой фразе излилась вся горькая жизнь русского мужика, потерявшего совершенно смысл существования. «Столбы для дому бей в камень, паши камень и камень кушай... и слеза наша на камень этот падет»,— говорил другой <sup>24</sup>.

Эти люди, которые, как все люди, всё ждут чего-то и на что-то надеются, везли Чернышевского, когда его отправляли на Вилюй. Они заметили, что этого арестанта провожают с особынным вниманием, и долго в юртах этих мужиков, забывающих родной язык, но хранящих воспоминание о далекой родине, толковали о «важном генерале», попавшем в опалу. Затем его провезли обратно и опять с необычными предосторожностями.

В сентябре 1884 года, через несколько месяцев после проезда Чернышевского по Лене в Россию, мне пришлось провести несколько часов на пустынном острове Лены в ожидании, пока пронесется снеговая туча. Мы с ямщиками развели огонь, и они рассказывали о своем житьишке.

— Вот разве от Чернышевского не будет ли нам чего? — сказал один из них, задумчиво поправляя костер.

— Что такое? от какого Чернышевского? — удивился я.

— Ты разве не знаешь Чернышевского, Николай Гавриловича? И он рассказал мне следующее:

«Чернышевский был у покойного царя (Александра II) важный генерал и самый первый сенатор. Вот однажды созвал государь всех сенаторов и говорит:

— Слышиу я — плохо у меня в моем государстве: людишки больно жалуются. Что скажете, как сделать лучше?

Ну, сенаторы... один одно, другой другое... Известно уж, как всегда заведено. А Чернышевский молчит. Вот, когда все сказали свое, царь говорит:

— Что же ты молчишь, мой сенатор Чернышевский? Говори и ты.

— Все хорошо твои сенаторы говорят,— отвечает Чернышевский,— и хитро, да все, вишь, не то. А дело-то, батюшка-госу-

дарь, просто... посмотри на нас: сколько на нас золота да серебра навешано, а много ли мы работаем? Да, пожалуй, что меньше всех! А которые у тебя в государстве больше всех работают — те вовсе, почитай, без рубах. И все так идет навыворот. А надо вот как: нам бы поменьше маленько богатства, а работы бы прибавить, а прочему народу убавить тягостей.

Вот услышали это сенаторы и осердились. Самый из них старший и говорит:

— Это, знать, последние времена настают, что волк волка съесть хочет. Да один за одним и ушли.

И сидят за столом — царь да Чернышевский — одни. Вот царь и говорит:

— Ну, брат Чернышевский, люблю я тебя, а делать нечего, надо тебя в дальние места сослать, потому с тобой с одним мне делами не управиться.

Заплакал, да и отправил Чернышевского в самое гиблое место, на Вилой. А в Петербурге осталось у Чернышевского семья сынов, и все выросли, обучились, и все стали генералы. И вот, пришли они к новому царю и говорят:

— Вели, государь, вернуть нашего родителя, потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет, — мы все с ним, семь генералов.

Царь и вернул его в Россию, теперь, чай, будет спрашивать, как в Сибири, в отдаленных местах народ живет... Он и расскажет...

Привез я его в лодке на ставок, да как жандармы-то сошли на берег, — я поклонился в пояс и говорю:

— Николай Гаврилович! Видел наше житьишко?

— Видел, — говорит.

— Ну, видел, так и слава те господи».

Так закончил рассказчик, в полной уверенности, что в ответе Чернышевского заключался залог лучшего будущего и для них, приставленных караулить «пеструю столбу да серый камень».

Я рассказал эту легенду Чернышевскому. Он с добродушной ironией покачал головой и сказал:

— А-а, похоже на правду, именно похоже! Умные парни эти ямщики.

